

ЗЕЛЕНОЕ ЧЕРНОЕ

С.А.

Трагизм, он некрасивый всегда, непривлекательный. Глаз на нем ни фи́га не отдыхает. Все время возвращается, но не отдыхает. И чего в нем? Невнятица.

У него живопись такая тоже была – невнятная. Фигуры зыбкие, лиц не разобрать. Сюжетов вроде никаких. «Литература, она вот: вот я был здесь, а потом – здесь. А живопись – это как я шел.»

Лица, почему лиц не видно, он объяснил – пишешь лицо так же, как фигуру, как дерево на заднем плане, как все, писать одно лучше, остальное хуже – вранье. Нет второстепенного, потому что не ты выбираешь, что главное.

Он мне много такого сказал, что я запомнила, сочтя для себя важным, и потом повторяла, чтоб не забыть, а после уже считала своим.

... жил возле Беговой, и для первого раза встретил меня в метро. Последний вагон из центра. Пешком – минут 15. Апрель, потом май. Потом лето, тряся разноцветным хвостом, пробегало, гремело пустыми жестянками.

Хотя сначала был март, я в свитере и узкой толстой юбке, и было страшно – удалять зуб! – а толстоватый доктор, тридцатилетний кормленный мальчик, лоснясь уверенностью, разложил локти на моем шерстяном бюсте:

– Ну-с, что тут у нас?

А я так напугалась, что даже не реагировала, просто отметила механически: вот, стебается дядя. А он сделал мне укол и прогнал в коридор, там-то мы и познакомились.

Он такой заостренный вниз сидел, как топор нависший, и бубнил, как все топоры: ко мне, но вроде бы и к себе больше:

– Что это вы читаете? А, Фолкнера. Что, Фолкнера любите?

– Да, я люблю Фолкнера, – изрекла я снисходительно.

(Вот так. И умна, и красива.)

– А еще что читаете?

Вот топор хренов.

– Достоевского люблю. Времени вот только нет... Аспирантура, знаете...

Достоевского я последний раз читала в девятом классе. Ну, это неважно. Круг интересов должен отобразить богатство моего духовного мира, мало понятного всяким средним людям.

Попутно льстило внимание других ожидальцев.

– А я вот художник. Я бы хотел вас написать, как вы смотрите? Очень у вас... -

Я изготовилась заглотнуть комплимент своей... одухотворенности? интеллекту?

– ... ноги у вас подходящие. Ноги подходят.

Анна Хоси

Псих какой-то. Художник. Ноги. На лицо-то посмотрел? И вообще, может, он маньяк. Ноги – они же в сапогах. Их же не видно!

– Нну, вы знаете... Мне нужно посмотреть, что вы пишете... Я обычно отказываюсь... Только если мне очень понравится...

(Мне уже сто раз предлагали – позировать, вот так! А я отвечала – никаких обнаженных! Поэтому никто меня так и не нарисовал, ни разу. Ну и дураки).

– Разумеется, в одежде. Просто постоять или посидеть, час, примерно. Несколько сеансов. Как вы смотрите?

В общем, мы встретились на Беговой. Это там просто квартира, где он жил. А мастерская в комнате.

В плохую погоду я смотрела сквозь мокрое стекло, как проходят бега: сверху сыпал беспросветный дождь, а залепленные грязью лошади в мокрых номерах бежали по краю, оскальзываясь на жидкой глине.

Я стояла в углу, между окном и зеркалом, а он писал. И я даже не видела, что он пишет, подрамник к нему был повернут, а спросить посмотреть я стеснялась.

– Вы не обращайтесь внимания, – он сказал, – я буду говорить, у меня привычка такая. Я буду говорить, а вы не обращайтесь внимания.

Мне очень понравились его работы почему-то. Я же совсем в картинах не разбираюсь, только не признавалась никому, но здесь увидела сразу, что он настоящий художник. Почему-то это было видно. У него работы были некрасивые, вот это запомнилось. И в них было очень много вложено: слоями. Как будто жизнь, и она светилась.

Там были фигуры на грязном снегу, бурые, нечеткие; люди сутулые, все суровое такое.

И он такие чудные вещи говорил: живопись, он говорил, – самое трудное в мире.

– Вот Вламинк – ничего не боялся! Он листву на деревьях – черным писал. Как видел. А?

Еще он сказал, что создает духовные ценности.

– А вы – нет. – И в тоне его был упрек.

Разве можно духовные ценности создать? Но он задел меня сильно.

Его картины всегда были темные – серые, коричневые. Он сказал, что трудней всего писать красным. Мало кто умеет. И еще он объяснил, что есть цвет, и есть краска. Краска – то, что выдавливают из тюбика. А цвета достигают, не все. Вот французы – они больше краской. Матисс там всякий. А цвет – другое. Краски в цвете уже нет. Дышишь ведь воздухом, не кислородом.

Это он сказал мне о трагизме. И я потом его искала незаметно, всюду. Потому что он назвал, что во мне всегда было.

Он говорил глухим голосом без интонаций и без выражения. У него был хму-

Анна Хоси

рый вид. Лицо такое... без выражения, тоже. Не знаю, как сказать. Как старое железо. Немного волчьё. А глаза были не отсюда. Они... сияли, как будто. Как лето. В них разноцветное плескало – смех, жизнь.

А про картины я ничего не поняла. Я только увидела, что это громадный... труд, что ли. Что этот человек отчаянно рвется куда-то, стучится, как всем телом, всей болью – об стену: Отпусти!

Я согласилась позировать сразу, ясно было, что я соглашусь, еще там, в затхлом коридорчике, где за стенкой толстый доктор дергал зубы как морковку.

2002

Анна Хоси